



## **Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ**

### **Чехов и Горький**

Если бы теперь, когда для России наступает страшный суд истории, русская интеллигенция пожелала узнать, с чем она пойдёт на этот суд, то могла бы сделать это лучше всего по произведениям Чехова и Горького.

Как бы мы ни судили о сравнительной величине обоих писателей, несомненно одно: они заслонили от нас двух последних великанов русской литературы, Л. Толстого и Достоевского. Ибо нечего греха таить: великаны эти оказались нам не по плечу.

Чехов и Горький русской интеллигенции как раз по плечу. Они её духовные вожди и учителя, «властители дум» современного поколения русской интеллигенции.

По Л. Толстому и Достоевскому можно судить не столько о современной действительности, сколько о более или менее далёких возможностях русского духа, не о том, что есть, а о том, что будет и, может быть, ещё не скоро будет в России. По Чехову и Горькому можно судить о том, что сейчас есть или сейчас будет. Л. Толстой и Достоевский — выразители глубочайшей народной стихии и высочайшего культурного сознания России. Чехов и Горький выразители не столько народной, сколько сословной, не столько культурной, сколько интеллигентной середины русского среднего сословия, самого многочисленного и деятельного, которому в настоящее время предстоит «делать историю» и за то, что будет сделано, дать ответ на страшном суде истории.

Если бы среднего русского интеллигента спросить, за что он любит Чехова и Горького, не за то ли, что они учат верить в торжество прогресса, науки, человеческого разума, — всего того, что называется «гуманными идеями», — то интеллигент ответил бы, что это именно так; и если бы возразить ему, что Чехов

и Горький, хотя действительно учат верить других и сами стараются верить во всё это, но уже почти не верят, и что подлинное творчество их направлено к тому, чтобы показать невозможность этой веры и душевное состояние людей, утративших возможность какой бы то ни было веры, — то интеллигент счёл бы такое утверждение не только величайшею нелепостью, но и величайшим оскорблением славы живого и памяти почившего писателя, — наконец, оскорблением его самого, интеллигента, в главной святыне своей, ибо вера, именно вера в «гуманные идеи» есть донныне главная и единственная святыня его. Но для тех, кто не останавливается на общедоступной внешности литературных явлений, кто умеет слышать не только то, что писатели говорят, но и то, о чём они молчат, — для тех несомненно, что с этою верою у Чехова и Горького не всё обстоит так благополучно, как кажется, и что, сами того не желая, может быть, даже не сознавая, оба эти писателя только то и делают, что подкапывают и разрушают все верования, все идеалы или идолы русской интеллигенции. Нельзя, впрочем, слишком строго судить читателя за то, что он проглядел разрушительную сторону в творчестве Чехова и Горького: они умеют молчать и скрывать своё последнее безверье не только от других, но и от самих себя; лишь изредка, когда это молчанье становится похожим на подвиг того спартанского мальчика, который прятал под платьем лисицу, пожиравшую ему внутренности, — они говорят и даже кричат так, что нельзя не услышать имеющим уши, чтобы слышать.

«Я напишу одну маленькую книгу. Я назову её — Отходная: есть такая молитва, её читают над умирающими. И это общество, проклятое проклятием внутреннего бессилия, перед тем, издохнуть ему, примет мою книгу, как мускус».

Иногда кажется, что эти страшные слова одного из своих героев Горький мог бы сказать от себя, а за Горьким и Чехов, что оба они в один голос пропели отходную не глубочайшей народной стихии и высшему культурному сознанию России, а той интеллигентной середины, или посредственности, которая увидела в них своих пророков и учителей, что они «дали мускус умирающему», и то, что он принял в них за новую жизнь, за воскресение своё, — было лишь мгновенным возбуждением предсмертного мускуса.

Но прежде чем говорить о содержании, надо сказать два слова о художественной форме обоих писателей.

О Горьком как о художнике именно больше двух слов говорить не стоит. Правда о босяке, сказанная Горьким, заслуживает величайшего внимания; но поэзия, которою он, к сожалению, считает нужным украшать иногда эту правду, ничего не заслуживает, кроме снисходительного забвения. Все лирические излияния автора, описания природы, любовные сцены — в лучшем случае посредственная, в худшем — совсем плохая литература. Впрочем, тем простодушным критикам, которые сравнивают Горького как художника с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым и Достоевским, всё равно ничего не докажешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой, а русская критика — хозяйкину дочку Машеньку в светлоголубом платье с двухаршинным хвостом, которая слушает и восхищается: «Ужасно всякий стих люблю, если складно». — «Стихи вздор-с», — возражает Смердяков. — «Ах, нет, я очень стишок люблю», — ласкается Машенька<sup>1</sup>.

Но те, кто за этою сомнительною поэзией не видит в Горьком знаменательного явления общественного, жизненного, — ошибаются ещё гораздо больше тех, кто видит в нём великого поэта. В произведениях Горького нет искусства; но в них есть то, что едва ли менее ценно, чем самое высокое искусство: жизнь, правдивейший подлинник жизни, кусок, вырванный из жизни с телом и кровью... И, как во всём очень живом, подлинном, тут есть своя нечаянная красота, безобразная, хаотическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для поклонников чистого искусства неприемлемая, но для любителей жизни обаятельная. Все эти «бывшие люди», похожие на дьяволов в рисунках великого Гойи<sup>2</sup>, — до ужаса реальны, если не внешнею, то внутреннюю реальностью: пусть таких людей нет в действительности, но они могут быть, они будут. Это вещи видения вещей души. «С подлинным души моей верно», подписался Горький под одним из своих произведений и мог бы подписаться под всеми.

Чутьё, как всегда, не обмануло толпу. В Горьком она обратила внимание на то, что в высшей степени достойно внимания. Может быть, не поняла, как следует, и даже поняла, как не следует, но если и преувеличила, то не даром: дыма было больше, чем огня; но был и огонь; тут, в самом деле, загорелось что-то опасным огнём.

Горький заслужил свою славу: он открыл новые, неведомые страны, новый материк духовного мира; он первый и единствен-

ный, по всей вероятности, неповторимый в своей области. При выходе в ту «страну тьмы и тени смертной», которая называется босячеством, навсегда останется начертанным имя Горького.

Чехов — законный наследник великой русской литературы. Если он получил не всё наследство, а только часть, то в этой ж части сумел отделить золото от посторонних примесей, и, велик или мал оставшийся слиток, но золото в нём такой чистоты, как ни у одного из прежних, быть может, более великих писателей, кроме Пушкина.

Отличительное свойство русской поэзии — простоту, естественность, отсутствие всякого условного пафоса и напряжения — то, что Гоголь называл «беспорывностью русской природы», — Чехов довёл до последних возможных пределов, так что идти дальше некуда. Тут последний великий художник русского слова сходится с первым, конец русской литературы — с её началом. Чехов — с Пушкиным.

Чехов проще Тургенева, который жертвует иногда простотой красоте или красивости; проще Достоевского, который должен пройти последнюю сложность, чтобы достигнуть последней простоты; проще Л. Толстого, который иногда слишком старается быть простым.

Простота Чехова такова, что от неё порою становится жутко: кажется, ещё шаг по этому пути — и конец искусству, конец самой жизни; простота будет пустота — небытие; так просто, что как будто и нет ничего, и надо пристально вглядываться, чтобы увидеть в этом почти ничего — всё.

Чехов никогда не возвышает голоса. Ни одного лишнего, громкого слова. Он говорит о самом святом и страшном так же просто, как о самом обыкновенном, житейском; о любви и о смерти — так же спокойно, как о лучшем способе «закусывать рюмку водки солёным рыжиком». Он всегда спокоен, или всегда кажется спокойным. Чем внутри взволнованнее, тем снаружи спокойнее; чем сильнее чувство, тем тише слова. Бесконечная сдержанность. Бесконечная стыдливость — та «возвышенная стыдливость страдания», которую Тютчев заметил в русской природе:

Ущерб, изнеможенье и во всём  
та кроткая улыбка увяданья,  
что в существе разумном мы зовём  
возвышенной стыдливостью страданья<sup>3</sup>.

Говоря однажды о том, как следует описывать природу, Чехов заметил:

— Недавно я прочёл одно гимназическое сочинение на тему — описание моря. Сочинение состояло из трёх слов: «Море было большое». По-моему, превосходно!

Все описания природы у Чехова напоминают это сочинение из трёх слов. Чтобы, после всего, что говорилось о море, вспомнить самое первое и главное впечатление — простое величие, — надо быть дикарём, ребёнком или гениальным художником. Глядя на природу, Чехов никогда не забывает, что «море было большое».

Люди не видят главного в себе и в других, потому что оно слишком пригляделось, стало слишком привычным для глаза. Глаз Чехова устроен так, что он всегда и во всём видит это невидимое обыкновенное и, вместе с тем, видит необычайность обыкновенного.

Уменьше возвращаться от последней сложности к первой простоте ощущения, к его исходной точке, к самому простому, верному и главному в нём — вот особенность чеховской, пушкинской и вообще русской всеупрощающей эстетики.

От Гомера до декадентов, сколько потрачено великолепных сравнений для описания грозы. Вот как её описывает Чехов: «На лево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо».

Казалось бы, что может быть унижительнее для молнии сравнения с чиркающей спичкой, и для грома — с хождением босиком по железной крыше? А между тем, высокое здесь не только не унижается низким, а ещё более возвышается; великое не умаляется малым, а ещё более возвеличивается.

И так всегда; чем поэтичнее природа, тем прозаичнее сравнения, которыми он её описывает. Но в глубине прозы оказывается глубина поэзии.

«Вечерняя степь прячется, как жиденята под одеялом». Луна кажется «провинциальной»; звёзды похожи на «новенькие пятиалтынные»; берёза — на «молоденькую стройную барышню»; облако — на «ножницы». В тишине июльского вечера одинокая птица поёт, повторяя всё одни и те же две-три ноты, как будто спрашивает: — «Ты Никитку видел?» — и тотчас сама

себе отвечает: — «Видел, видел, видел!» Это простое звукоподражание сразу переносит в родную, милую, как детская спаленка, тёплую, точно комнатную, уютность летнего вечера в русской деревне.

Природа приближается к человеку, как будто вовлекается в быт человека, становится простою, обыкновенною; но, как всегда у Чехова, — чем проще, тем таинственнее, — чем обыкновенное, тем необычнее.

И недаром вовлекает она природу в быт: именно здесь, в быте — главная сила его как художника. Он — великий, может быть даже в русской литературе величайший, бытописатель. Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века в мельчайших подробностях.

Тут, впрочем, не только сила, но и слабость его. Он знает современный русский быт, как никто; но, кроме этого быта, ничего не знает и не хочет знать. Он в высшей степени национален, но не всемирнен; в высшей степени современен, но не историчен. Чеховский быт — одно настоящее, без прошлого и будущего, одно неподвижно застывшее мгновение, мёртвая точка русской современности, без всякой связи со всемирною историей и всемирною культурою. Ни веков, ни народов — как будто в вечности есть только конец XIX века и в мире есть только Россия. Бесконечно зоркий и чуткий ко всему русскому, современному, он почти слеп и глух к чужому, прошлому. Он увидел Россию яснее, чем кто-либо, но проглядел Европу, проглядел мир.

У чеховских героев нет жизни, а есть только быт — быт без событий, или с одним событием — смертью, концом быта, концом бытия. Быт и смерть — вот два неподвижные полюса чеховского мира.

Снаружи этот быт кажется живым и крепким, но он весь мёртв и гнил внутри: довольно одного толчка, чтобы он разлетелся пылью, как те истлевшие ткани, которые находят в гробах. Снаружи он кажется радужно ярким и пёстрым, но это — злоеющая радуга стоячих вод и старых стёкол, годных только на слом. И весь этот гнилой, от гнилости хрупкий быт висит в пустоте над страшною пропастью на одной ниточке; вот-вот порвётся эта ниточка — и всё провалится в пропасть, разобьётся вдребезги. Как будто современная бытовая Россия перед своим концом, — начало этого конца мы теперь уже видим, — захотела в Чехове огля-

нуться на себя в последний раз. Весь улей нового, а для нас уже старого, даже дряхлого, послереформенного русского быта — ещё цел, со всеми своими восковыми перегородками, ячейками, сотами; но мёд в этих сотах превратился в полынь, сладость жизни — в горечь смерти, весёлость быта — в скуку небытия. Как из старых, давно неотпиравшихся шкафов — удушливой затхлостью, так из чеховского быта веет скукою.

Иногда тяжело больной, лёжа в постели, рассматривает долго и пристально, как будто с любопытством, опостылевший до тошноты узор обоев на стене и видит в этом узоре такие подробности, каких ни за что не увидит здоровый: такова чёткость быта у Чехова; в ней — тошнота и скука бреда. «Скучно, скучно», — тихо стонет больной, и страшнее буйного отчаяния эта тихая скука.

Скука, уныние — вот главная и, в сущности, единственная страсть всех чеховских героев, именно страсть, потому что уныние, по глубокому наблюдению христианских подвижников, — тоже «страсть», и притом, одна из самых жадных страстей. Как пьют вино запоем, так чеховские герои запоем скучают.

Почтальон, трясущийся на перекладных, врач уездной больницы, сын министра и революционер, который хочет убить этого министра, недоучившийся гимназист-подросток, который ни с того, ни с сего пускает себе пулю в лоб, старый профессор, бродяга-ссылный в Сибири, провинциальная актриса — добрые и злые, умные и глупые, счастливые и несчастные — все состояния, все сословия, все возрасты предаются этой страсти уныния. В больших городах, и в захолустных городишках, и в деревнях, и на одиноких полустанках, и в разорившихся дворянских гнёздах, и на фабриках, и в великосветских гостиных, и в монастырях, и в домах терпимости, и в кабинетах учёных — везде уныние. Какая-то метафизическая скука, чувство беспредельной пустоты, ничтожности, ничтожности всего. «Русский человек не любит жить» — вот изумительное открытие Чехова. Кажется, не только русский человек, но и русская природа не любит жить.

«Утро было нехорошее, пасмурное... Кто-то за берёзами играл на самоделковой пастушеской свирели. Игрок брал не больше пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но, тем не менее, в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое». Играет старый пастух, Лука Бедный. «Всё к одному клонится, — говорит Лука, — добра не жди... Всё

к худу, надо думать, к гибели... Пришла пора Божьему миру погибать... И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — всё ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. И всему этому пропадать надо! Жалко. И, Боже, как жалко!» «Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся тёмны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется ещё печальнее, и по стволу её ползут слёзы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней... Замирали звуки свирели. Самая высокая нотка пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека... оборвалась, — и свирель смолкла».

Эта пронзительно унылая свирель Луки Бедного — не самого ли Антона Бедного, Антона Чехова? — предчувствие всеобщего конца, всемирной гибели — основной напев, *Leitmotiv* чеховской музыки.

Иногда в мёртвом затишьи перед грозой одна только птица поёт, словно стонет, уныло и жалобно: такова песня Чехова.

Мы теперь уже вышли из этого предгрозового затишья — из чеховской скуки; мы уже видим грозу, которую он предсказывал: «Надвигается на всех громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идёт, уже близка и скоро сдует с нашего общества «лень, равнодушие, гнилую скуку» («Три сестры»). Чехову было скучно и страшно; нам теперь страшно и весело. Наконец-то гроза! Наконец «началось», сорвалось, полетело — всё кругом летит, летим и мы, вверх или вниз, к Богу или к чёрту, — не знаем пока, боимся узнать, но, во всяком случае, летим, не остановимся, — и слава Богу! Кончился быт, начались события.

Но какова бы ни была сила бури, которая сметёт чеховский быт, — мы никогда не забудем — в темноте грозовой тучи белую чайку с её жалобно-вещим криком. Каков бы ни был ужас конца, мы никогда не забудем пронзительно унылую свирель Антона Бедного, которая напророчила этот конец.

\* \* \*

«Есть Бог или нет?» — этот вопрос Ивана Карамазова Чёрту, вопрос о бытии Бога и об отношении человека к Богу, есть главная тема русской литературы, поскольку отразилась в ней глубина русской народной стихии и высота русского культурное сознания. Но



вечная середина — русская интеллигенция — отвергла тему о Боге и рядом с великою литературою, всенародною и всемирною (Гоголь, Л. Толстой, Достоевский), создала свою собственную литературу, сословно-интеллигентскую (Добролюбов, Чернышевский, Писарев и др.). Не вопрос о Боге и об отношении человека к Богу, а вопрос о человеке, только человеке, об отношении человека к человеку, помимо Бога, без Бога и, наконец, против Бога — вот главная тема этой литературы.

Всю тяжесть обвинения за отсутствие религиозного сознания сваливать на русскую интеллигенцию было бы несправедливо. История европейской государственности вообще, и русской, в частности, установила слишком тесную, почти неразрывную связь между религиозными, в особенности «христианскими» идеями с одной стороны, и самыми грубыми формами общественной неправды и политического гнёта, — с другой. Религия и реакции сделались почти неразличимыми синонимами. Кажется, довольно произнести слово Бог, чтобы многоголосное эхо в веках и народах ответило: гнёт. Это кощунственное превращение имени Божьего в главную гайку, которою привинчиваются к духу и плоти так называемого «христианского» человечества всевозможные колодки, кандалы и другие, более или менее усовершенствованные орудия порабощения, есть одно из величайших всемирно-исторических преступлений. Но ежели нельзя обвинять русскую интеллигенцию, то не следует и потворствовать ей в этом невольном заблуждении. Давно пора обличить эту людьми освящённую, Богом проклятую связь христианства с политическим произволом, учения истины и свободы — с учением лжи и насилия.

Как бы то ни было, но «религия человечества» без Бога, религия человечества, только человечества всегда была и есть доныне бессознательная религия русской интеллигенции.

Чехов и Горький — первые сознательные учителя и пророки этой религии.

«Человек — вот правда. В этом — все начала и концы. Всё в человеке, всё для человека. Существует только человек». — «Истинный Шекинах (Бог) есть человек».

Таково исповедание Горького. А вот оно же у Чехова:

«Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звёзд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным». — «Мы высшие существа и, если бы в самом деле мы познали всю силу человеческого гения, мы стали бы как боги».

В обоих исповеданиях есть недосказанность: ежели «существует только человек», ежели человек сам для себя единственная правда, единственный Бог, что такое Бог вне человека? На этот вопрос у Чехова и Горького ответа нет, — не потому ли, что он слишком ясен?

Чтобы человек стал «Богом», надо, чтобы он понял, что нет иного Бога, кроме человека, надо уничтожить в человеке идею о Боге. Отвергая христианскую идею Богочеловечества, единственно возможный синтез религиозной идеи человечества с идеей Божества, религия человечества, только человечества, доведённая до конца своего, становится в непримиримое противоречие с идеей о Боге: каждая из этих двух идей, для того, чтобы существовать, должна истребить другую. Пока ещё мало сознание, но метафизически неизбежное завершение религии человечества есть не только атеизм, но антитеизм, не только безбожие, но и противобожие, деятельное богоборчество.

«Надо разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело, — напоминает Чёрт Ивану Карамазову его же собственные мысли. — Раз человечество отречётся поголовно от Бога, то наступит всё новое... Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится Человекобог».

Из этой посылки умного Ивана делает вывод безумный Кириллов:

«Для меня непонятно, как можно сказать: нет Бога, — чтобы в ту же минуту не сказать: я — Бог»<sup>4</sup>.

Человечество — без Бога, человечество — против Бога, человечество — Бог, человек — Бог, я — Бог, — вот ряд посылок и выводов, ряд ступеней, образующих пока ещё тёмную для сознания русской интеллигенции, метафизическую лестницу, которая ведёт неминуемо от религии человечества к религии человекобожества.

Внизу этой лестницы — чеховский интеллигент; вверху — горьковский босяк. Между ними ряд ступеней, которых ещё не видит, но по которым уже идёт русская интеллигенция.

## II

«Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чёрт её

побери! Я б им сказал: о, гниды!..» — говорит у Горького босяк, мечтающий сделаться великим писателем.

«До судорог противна мне была эта публика, — говорит другой босяк, бывший актёр, — и часто мне хотелось плюнуть на неё со сцены, выругать её самыми похабными словами... Как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу, всему первому ряду зрителей, носы срезать... Чёрт бы всех их взял!..»

Должно отдать справедливость Горькому: ежели русская интеллигенция обманулась в босяке, то она не была обманута Горьким; он сказал всю, или почти всю правду, которую видел сам.

И тем не менее:

«Мы смотрим на босяка, любимся на него, удивляемся ему», — говорит один восторженный критик, и в этих словах — крик сердца всей русской интеллигенции.

Как же объяснить эту любовь, или, вернее, влюблённость? Чем, собственно, пленил босяк русскую интеллигенцию?

Прежде всего тут, конечно, сочувствие политическое. Босяк, не столько по внутреннему содержанию своему, сколько по революционной внешности, казался естественным союзником в самом святом, нужном и великом деле русской интеллигенции, в деле политического освобождения.

Ежели в босячестве действительно скрывается стихийная мятежность, огненный взрыв человеческой личности, бессознательный протест против общественного гнета, который всех нас одинаково давит, то, разумеется, такой протест, откуда бы ни шёл, заслуживает сочувствия. Кто бы и какой бы ценой ни помогал нам, только бы помог! Бывают такие минуты, когда человеку с петлёй на шее некогда разбирать, чьи руки срывают эту петлю. Босяк так босяк! Кажется, не только босяку, мы и чёрту были бы рады!

К сожалению, события последнего времени показывают, что надежды русской интеллигенции на деятельную роль босяка в освободительном движении преувеличены, и что провести черту, которая отделила бы босячество от хулиганства, довольно трудно. О босяке никогда нельзя знать, да он и сам не знает сегодня, что с ним будет завтра и чем он окажется, случайным ли союзником русской интеллигенции или патриотическим героем чёрной сотни, избивающей эту же самую интеллигенцию. В чём в другом, а в тактическом общественном действии от босяка мало корысти.

Корысти, впрочем, никогда и не было в непосредственном чувстве русской интеллигенции к босяку. Политическое сродство тут только внешность, за которою скрывается гораздо более глубокое, внутреннее и первоначальное сродство метафизическое.

Откуда явился босяк?

Великая заслуга Горького в том, что он сумел не поддаться лёгкому соблазну объяснить босячество исключительно внешними социально-экономическим условиями.

«Тебе не в чем винить себя... тебя обидели», — говорит интеллигент босяку, доказывая, что он, босяк, «существо, длинным рядом исторических несправедливостей сведённое на степень социального нуля».

«Во мне самом что-то неладно, — возражает босяк интеллигенту. — Не так я, значит, родился, как человеку это следует... Я на особой стезе. И не один я. Много нас этаких. Особливые мы будем люди и ни в какой порядок не включаемся... Кто перед нами виноват? Сами мы перед собой и жизнью виноваты».

«И чем упорнее, — признаётся интеллигент, — я старался Доказать ему, что он — «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности перед самим собою и жизнью».

— «Каждый человек себе хозяин, и никто в том неповинен, ежели я подлец есть»... «Я есть заразный человек... Несчастный этакий ядовитый дух из меня исходит.. И как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается... Тлеющий я человек... Подумай, ведь я хуже холерного!»

Босяк не только не сознаёт себя жертвою «общественной среды и условий», а, напротив, сознаёт, что эта среда и эти условия могут сделаться жертвою «заразного духа» — тления и смерти, которые он носит в себе.

Кроме босячества внешнего, социально-экономического, есть босячество внутреннее, психологическое — последний предел нигилизма, последняя обнажённость, нагота и нищета духовная. И вовсе не потому человек доходит до внутреннего босячества, что он раньше сделался жертвой внешних социальных условий, — он очутился «на дне», потому что дошёл до внутреннего босячества. Не внутреннее босячество от внешнего, а внешнее от внутреннего.

Достоевский не имел никакого влияния на Горького. Босяка своего взял Горький прямо из жизни. Тем более поразительны

психологические совпадения горьковских босяков и некоторых героев Достоевского.

В «Дневнике Писателя» от 1873 года, по поводу двух мужиков, которые, заспорив, «кто кого дерзостнее сделает», стреляли из ружья в Причастие, Достоевский говорит об одной свойственной будто бы всему русскому народу, психологической особенности:

«Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую бездну — и в частных случаях, но весьма нередких — броситься в неё, как ошалелому, вниз головой! Это — потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем, и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей её полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. — Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдаётся почти беззаветно, готов порвать всё, отречься от всего — от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительнейшим безобразником и преступником, стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой круговорот судорожного и моментального самоотрицания, так свойственный русскому характеру в иные роковые минуты его жизни».

Вот не только психология, но и метафизика, отчасти даже мистика босячества — в народе. А вот то же самое — в русском интеллигенте — в «подпольном человеке»<sup>5</sup>. Что у Горького — «На дне», то у Достоевского — «подполье»: и то и другое — прежде всего, не внешнее, социально-экономическое положение, а внутреннее, психологическое состояние.

Бунт «подпольного человека» есть бунт не только против какого бы то ни было общественного, но и против всего мирового порядка — против законов природы, законов естественной необходимости и, наконец, законов собственного разума. Человеческий, только человеческий разум, отказываясь от единственно возможного утверждения абсолютной свободы и абсолютного бытия человеческой личности — в Боге, тем самым утверждает абсолютное рабство и абсолютное ничтожество этой личности в мировом порядке, делает её слепым орудием слепой необходимости — «фортепианной клавишей или органом штифтиком»,

на котором играют законы природы, чтобы, поиграв, уничтожить. Но человек не может примириться с этим уничтожением. И вот, для того чтобы утвердить, во что бы то ни стало, свою абсолютную свободу и абсолютное бытие, он принуждён отрицать то, что их отрицает — то есть мировой порядок, законы естественной необходимости и, наконец, законы собственного разума. Спасая своё человеческое достоинство, человек бежит от разума в безумие, от мирового порядка в «разрушение и хаос».

«Ежели, — рассуждает «подпольный человек», — когда-нибудь наступит на земле окончательное торжество разума, которое даст человечеству благополучие, рассчитанное «по табличке логарифмов», то непременно возникнет какой-нибудь джентльмен, с насмешливою физиономией, упрёт руки в боки и скажет всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу ногой прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к чёрту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы ещё ничего, но обидно то, что непременно последователей найдет: так человек устроен... Осыпьте его всеми земными благами, дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, так он вам и тут человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнёт даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди всё ещё люди, а не фортепианные клавиши... Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепианною клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится... Выдумает разрушение и хаос, проклятие пустит по свету... Если вы скажете, что и это всё можно рассчитать по табличке — и хаос, и мрак, и проклятие — так что уж одна возможность предварительного расчёта всё остановит и расчёт возьмет своё, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай делается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своём. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь всё дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством — доказывал».

«Троглодитством», или босячеством.

Таков метафизический и, может быть, даже мистический предел интеллигентного «подполья» и босяцкого «дна». Ежели интеллигент, отказавшийся от религии, пока ещё не видит этого предела и может сомневаться, идёт ли он туда же, куда «подпольный человек» и босяк, то уж нет никакого сомнения в том, что он идёт оттуда же.

Механическое мирозерцание, то есть утверждение как единственно реального того мирового порядка, который отрицает абсолютную свободу и абсолютное бытие человеческой личности в Боге, и который делает из человека «фортепианную клавишу»: или «органный штифтик» слепых сил природы, — вот общая метафизическая исходная точка интеллигента и босяка.

«Существуют законы и силы, — говорит один из босяков Горького. — Как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам? Очень просто. Значит, живи и не кобенься, а то сейчас же разрушит в прах сила». — «Значит, человеку некуда податься?» — «Ни на вершок!.. Никому ничего не известно... Тьма!»

Это ведь и есть научное — *ignotamus*, не знаем, — спустившееся до босяцкого «дна». И здесь, «на дне», оно будет иметь точно такие же последствия, как там, на интеллигентной поверхности.

Прежде всего — вывод: нет Бога? или, вернее: человеку нет никакого дела до Бога, между человеком и Богом нет соединения, связи, религии, ибо *religio* и значит связь человека с Богом.

«Я видел небо, — там только пусто. Я знаю правду: земля творенье, землёй живу я», — запекает в «Песне о Соколе» летающий в небе романтический босяк. «А с земли, кроме как землю, никуда не соскочишь», — кончает песню босяк реалистический, стоящий на земле. Земная жизнь бесцельна: «Кто скажет, зачем он живёт? Никто не скажет. И спрашивать про это не надо. Живи, и всё тут. И похаживай, и посматривай»... Жизнь не только бесцельна, но и бессмысленна, потому что кончается смертью — уничтожением: «Ничего там не будет, ничего... Спокой — и больше ничего!», — напутствует умирающую старец Лука, учитель босячества.

Этот догматический позитивизм (потому что у позитивизма есть тоже своя догматика, своя метафизика и даже своя мистика) неизбежно приводит к догматическому материализму:

«Брюхо в человеке — главное дело. А как брюхо спокойно, значит, и душа жива, — всякое деяние человеческое от брюха происходит».

Утилитарная нравственность — только переходная ступень, на которой нельзя остановиться между старою метафизическою моралью и тем крайним, но неизбежным выводом, который делает Ницше из позитивизма, — откровенным аморализмом, отрицанием всякой человеческой нравственности. Интеллигент не сделал этого крайнего вывода потому, что был удержан от него бессознательными пережитками метафизического идеализма. Босьяка уже ничто не удерживает; и в этом отношении, так же как во многих других, он опередил интеллигента: босьяк откровенный и почти сознательный аморалист.

«Я со времён молодых ногтей моих морали терпеть не мог... Зубы моей совести никогда у меня не болели». — «Знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних ногах».

Идеалы отвлечённого гуманизма, философского человеколюбия — подогретое блюдо XVIII века, которым, в сущности, доньше питается русская интеллигенция — возбуждают в босьяке чувство наибольшей брезгливости.

«Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое... а я всё читаю... И противно мне читать, потому что всё это пустяки одни. Одни слова бесстыжие».

«Скажи, как по-твоему жить надо? Чего ты хочешь? — спрашивает старик Маякин, богатый купец по социальному положению, а по душе тот же босьяк, свою дочь, интеллигентную барышню, начитавшуюся умных книжек. — «Чтобы все были счастливы... и довольны... и все люди равны... во всём равенство», — лепечет барышня. — «Так я и знал: позлащённая дыра ты! — решает старик. — Как могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет выше другого быть?.. Никогда человек человеку не уступит, — дураки только это думают. У каждого душа своя и лицо своё. Только тех, кто души своей не любит и лица не бережёт, можно обтесать под одну мерку... Эх ты!.. Начиталась, нажралась дряни!»

Вероятно, в эту минуту у старого купца Маякина точно такая же «насмешливая физиономия», как у того «неблагодарного джентльмена», который, по мнению подпольного человека, не-



пременно возникнет в будущем «хрустальном дворце» и посоветует людям «столкнуться с одного разу ногой прахом всё это благо-разумие».

Но не отвлечённое философское человеколюбие, а живая религиозная жалость, милосердие к людям — босяку всего ненавистнее.

«— Человека жалко!

— Да он кто тебе, человек-то? Понимаешь ты это? Он вот поймает тебя за шиворот, да и как блоху под ноготь! В ту пору ты его и пожалей... да! Тогда ты ему и обнаружь глупость-то свою. Он тебя за твою жалость семью муками измучит. Кишки все твои на руку себе навертит, по вершку в час все жилы из тебя вытянет... Ах ты... жалость! А ты моли Бога, чтобы без всякой жалости, просто прикокнули тебя и шабаш!.. Жалость — тьфу!..»

Горький называет эти страшные слова «суровыми и верными». Положение так называемой «христианской» жалости в мире таково, что, действительно, нелегко опровергнуть правду этих слов.

«Жалеть я тебя не могу, — говорит босяк Артём еврею Каину. — Нет у меня жалости к тебе и ни к кому нет. Противно мне это... Не моё это дело... Всё я только ломал себя, притворялся больше. Думал, жалею, ан выходит — так это, один обман. Со всем я не могу жалеть».

Иногда кажется, что босяки Горького читали философа Ницше, хотя и в дешёвом, не совсем грамотном русском переводе, но поняли в нём всё-таки больше, чем русские интеллигенты. Иногда; хочется даже спросить: узнал ли бы сам Ницше своего сумеречного Диониса или солнечного Аполлона в каком-нибудь чудовищном Кувалде или Пляши-Ноге, «оборванном, исцарапанном, чёрном, как сатана?» Если бы, впрочем, и не узнал, побрезгал бы ими, то уж они-то, все эти так ещё недавно родившиеся, так уже бесчисленно кишачие сверхчеловеки, сверхчеловечки, узнали бы отца своего и с полным правом сказали бы ему: полюбил ты нас беленькими, полюби и чёрненькими! Или как менее брезгливый, чем Ницше, старец Лука говорит:

«Я и жуликов уважаю... По-моему, ни одна блоха не плоха. Все чёрненькие, все прыгают!»

Босяки Горького, несмотря на свою демократическую внешность, внутренние аристократы. Простой народ для них чернь. Мужика ненавидят и презирают они едва ли не больше, чем барина.

«Я всех мужиков не люблю — они сволочи! Они прикинулись сиротами, ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка — земля. А я что против них?.. Я — мещанин... За меня никого нет в заступниках». — «А мужика бы, этого чернозёмного барина, ух ты!.. грабь, дери шкуру, выворачивай наизнанку!..» — «Что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь, съедобное животное».

Ненависть босяка к народу кажется только сословною, социально-экономическою; но, может быть, босяк сам ещё не понимает, за что ненавидит народ.

Некрасовский дядя Влас, бывший кулак, то есть бывший внутренний босяк, хотя и другого, старого типа, обратившись к Богу, «роздал всё своё имение, сам остался бос и гол», — сделался внешним босяком, сравнялся по социально-экономическому положению с босяками Горького<sup>6</sup>. Но какая разница между босым дядей Власом и босым Пляши-Ногою!

Между интеллигентом и босяком, при взаимном социально-экономическом отталкивании, существует метафизическое сродство, притяжение — одна и та же, как мы видели, «позитивная догматика»; между босяком и народом — как раз наоборот: при социально-экономическом притяжении — взаимное метафизическое и даже мистическое отталкивание. Всё, во что верит мужик, дядя Влас, — кажется босяку, полуинтеллигентному «мещанину», просто невежеством и глупостью — «про неправду все написано», — как говорит Смердяков. А если бы дядя Влас мог понять, что думает босяк, то отшатнулся бы от него с таким же суеверным ужасом, как от «шестокрылатого тигра, змиев и скорпиев».

Босяк ненавидит народ, потому что народ — крестьянство — всё ещё бессознательное христианство, пока старое, слепое, тёмное — религия Бога, только Бога, без человечества, но с возможностью путей и к новому христианству, зрячему, светлому — к сознательной религии Богочеловечества. Последняя же сущность босячества — антихристианство, пока ещё тоже старое, слепое, тёмное — религия человечества, только человечества, без Бога, — но с возможностью путей к новому зрячему, сознательному антихристианству — к религии человекобожества.

— «Безбожные вы все люди... Звери вы!.. Бежать от вас — одно спасение. Есть иные люди, живы души их во Христе, — к ним уйду!» — говорит сын отцу, христианин босяку. — «Мертвечина

ты, стерва тухлая! — отвечает отец сыну, босяк христианину. — Кабы ты здоров был, хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную!»

Тут между отцом и сыном трагедия личная. Но смысл трагедии — последний ответ босяка христианину — вовсе не личный. Если не в настоящем, то в будущем, когда борьба делается сознательной, это ответ всего босячества всему христианству.

«Человек — вот правда. В этом все начала и концы. Всё — в человеке, всё — для человека. Существует только человек». — «Истинный Шекинах (Бог) есть человек». Человек есть Бог — таково религиозное исповедание сознательного босячества.

Сознательное христианство есть религия Бога, который стал Человеком; сознательное босячество, антихристианство, есть религия человека, который хочет стать Богом. Это последнее, конечно, обман. Ведь исходная точка босячества — «существует только человек», нет Бога, Бог — ничто; а следовательно, «человек — Бог» значит: человек — ничто. Мнимое обожествление приводит к действительному уничтожению человека.

Как бы то ни было, во имя этого обмана или этой религии, босяк хочет быть творцом.

— «Вот я соберу людей воедино и выведу их в пустыню и там устрою им будку всеобщего спасения... Я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю... Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине её, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я наложу на всех одну обязанность — творить. Твори, ибо ты человек! — прикажу я каждому». — «Ромул и Рем, босяки, создали Рим. И мы создадим!»

Но спрашивается: какое же творчество, когда, по признанию самого творца, «существуют только законы и силы», которым «невозможно противиться»? Какая же свобода, когда «человеку некуда податься ни на вершок», потому что «ничего неизвестно — тьма?» Тьма в начале, и в конце тьма, то есть слепое рабство слепым законам необходимости, мёртвой механике мирового порядка. Человеку надо выбрать одно из двух: или отказаться от всякого творчества, примириться с тем, что всегда он был и будет не творец, а тварь; или же, окончательно возмутьившись против мирового порядка, бежать в «разрушение и хаос», как выражается подпольный человек Достоевского — «столкнуть с одного разу

ногой прахом хрустальный дворец всеобщего благополучия», вместе с босяцкою «будкою всеобщего спасения». А если так, то зачем и творить? Можно разрушать для творчества, но как творить для разрушения?

Босяк, впрочем, и сам предчувствует, что именно здесь, в творчестве, ждёт его какое-то последнее крушение.

«Мне тесно, — говорит он, — стало быть, должен я жизнь раздвигать, ломать и перестраивать... А как? Вот тут мне и петля... Не понимаю я этого — и тут мне конец!»

«Дайте людям полную свободу, — тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, зарвётся человек выше своих ушей и пером полетит туда и сюда. Чудотворцем себя возомнит и начнёт он тогда дух свой испущать... А духа этого самого строительного совсем в нём малая толика! Попыжится это он день-другой, потопорщится во все стороны и в скорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нём».

Тотчас после торжественного гимна человечеству: «Человек — это великолепно, всё в человеке, всё для человека!» — один из слушателей признаётся:

— «Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь? Трушу... Потому, что же дальше?... Всё, как во сне... Зачем я родился?»

На этот вопрос один ответ: научно-позитивное — не знаем и не узнаем, *ignoramus, ignorabimus*. «Тьма!» Но после этого ответа — ещё страшнее, потому что ещё непонятнее.

С одной стороны: «существует только человек», «всё в человеке»; а с другой: «человечество представляется кучей червей», «люди, как тараканы — совсем лишние на земле; всё для них, а они для чего? В чём тут оправдание?» С одной стороны: «человек за всё платит сам и потому он свободен»; а с другой: «никто ни в чём не виноват, потому что все мы одинаково скоты». «Я — скот, и сознание скотства моего не отягчает меня: я живу в полной гармонии». С одной стороны: «человек есть истинный Шекина» — человек есть Бог; а с другой: человек — «скот». И следовательно, обожествлённое человечество — обожествлённое скотство.

Тут очевидно в самой глубине босяцкой метафизики какое-то зияющее противоречие, в которое вся она проваливается, а вместе с нею и сам босяк.

«Иной раз думаешь, думаешь. И вдруг всё исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то. В душе тогда, как в погребе,

темно, сыро и совсем пусто. Совсем ничего нет! Даже страшно... как будто ты не человек, а овраг бездонный».

Это самое глубокое из всех признаний босяка.

«Небо пусто»; но вот оказывается, что и земля пуста. И провал в эту пустоту земную — подземную — такой же бездонный, как в пустоту небесную. Нет Бога, но и человека нет — «совсем ничего нет». Последнее самоутверждение человека без Бога приводит к последнему самоотрицанию.

«Братцы! Мы все лопнем, ей-Богу! А отчего лопнем? Оттого, что лишнее всё в нас и вся жизнь наша лишняя!.. На что меня нужно? Не нужно меня! Убейте меня, чтоб я умер!.. Хочу, чтоб я умер!»

Ежели, дойдя до этой точки, босяк уже не только метафизически, но и физически не проваливается, то есть, не кончает самоубийством, сумасшествием, то тут начинается реальное воплощение новой метафизики, вернее, мистики «подпольного человека», то же самое, что произошло с двумя мужиками Достоевского, стрелявшими из ружья в Причастие, — то же самое, но более страшное, потому что более сознательное: именно сознательная «потребность отрицания всего, самой главной святыни своей», потребность «свеситься над пропастью, заглянуть в самую бездну и броситься в неё как ошалелому, вниз головой», «некоторое адское наслаждение собственной гибелью, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью», — «один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть всё пропадай!» Пусть «вечная гибель, но был же и я на таком верху!»...

— «Хочется мне отличиться на чём-нибудь, — говорит один из босяков Горького. — Раздробить бы всю землю в пыль идя собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтоб стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать, им: — Ах вы, гады, жульё вы лицемерное, и больше ничего!» И потом вниз тормашками с высоты и... вдребезги!... Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно...»

«Пусть все скачет к чёрту на куличики! — говорит другой босяк. — Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других».

Во имя чего это всемирное разрушение? Во имя ничего. Разрушение для разрушения, хаос для хаоса.

Спокойное, научно-позитивное: ничего не знаем, — превращается в яростное, мистическое: ничего не хотим, хотим ничего! И в этом хотении ничтожества обнаруживается последняя сущность босячества — служение «умному и страшному Духу Небытия»<sup>7</sup>.

Старец Лука, главный и, в сущности, единственный герой «На дне» — величайшее создание Горького.

Среди озверевших и осатаневших людей «святой старец» — как ангел Божий — со своею тихою усмешкою и тихою речью:

«Христос жалел и нам велел... Любить надо... Помогать человеку надо... Уважать его надо...»

Но истинного Христа, Богочеловека, незаметно подменяет она сперва человеком, только человеком: «Всё — в человеке, всё для человека», — затем противоположным Христом, Человекобогом: «Человек живёт для лучшего человека», то есть для «сверхчеловека», который ещё не пришёл, но придёт.

А пока придёт сверхчеловек, старец Лука «уважает» и сверхчеловеков, которым и теперь уже «всё позволено», «наплевать на всё», — то есть, попросту, «жуликов».

«Я и жуликов уважаю; по-моему, ни одна блоха не плоха — все чёрненькие, все прыгают!»

И этих бесчисленных, маленьких, голеньких, чёрненьких созывает он, собирает и ведёт в пустыню, в «будку всеобщего спасения». Манит их детскими сказками, лживыми грёзами о «праведной земле», о таинственном «городе» с «лечебницей для пьяных», в которой — «мраморный пол, свет, чистота, пища, — и всё даром», о «хрустальном дворце» и золотом веке «всеобщего благополучия». В жизни навеивает им «сон золотой», а в смерти обещает вечный отдых, вечный покой — желанное ничтожество: «ничего там не будет, ничего; покой, и больше ничего!»

Те, кто подходит к старцу, чувствуют в нём какую-то страшную ложь, как бы провал в бездонную пустоту:

«Старик — шарлатан...»

«Лука, старец лукавый, всё истории рассказывает...»

«Это он, старая дрожжа, проквасил нам наших сожителей...»

«— Зачем ты всё врешь? — обращается к нему один из слушателей.

— Это в чём же вру-то я?

— Во всём... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... Ведь врешь!

На что?

— А ты мне поверь... Спасибо скажешь... И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя».

«Правды он не любил, старик, — рассуждают ученики об учителе. — Очень против правды восставал. Так и надо. Верно, — какая тут правда? И без неё дышать нечем»...

«Старик — не шарлатан! Что такое правда? Человек, вот правда! Он это понимал... Он врал... Но это из жалости к вам, чёрт вас возьми!.. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ложь оправдывает. Ложь нужна. Ложь — религия!»

Религия «старца лукавого» и есть религия лжи. Дьявол — «отец лжи»; он истину ненавидит, потому что не устоял в истине; когда говорит ложь, своё говорит, потому что он — отец лжи и вечная ложь — его оружие в борьбе с Вечной Истиной — с Богом.

«— Слушай, старик: есть Бог? Лука молчит, улыбаясь».

Может быть, во всей русской литературе, после Достоевского, нет ничего страшнее этой безмолвной улыбки старца Луки.

«— Ну? Есть? Говори!»

Лука, наконец, отвечает «негромко»:

«— Коли веришь — есть; не веришь, — нет. Во что веришь, то и есть».

Вот слово, достойное самого «отца лжи». На вопрос: есть Бог? — ответить: да, — значило бы для него, утвердив Вечную Истину, уничтожить себя, Вечную Ложь; ответить: нет, — значило бы выдать себя, свою последнюю сущность, ту же Вечную Ложь, ибо, разумеется, сам он, Лукавый, лучше, чем кто-либо, знает, что Бог есть, потому что «видит Бога». И Лука, «старец лукавый», отвечает надвое: и да, и нет — ни да, ни нет. Эти два ответа — две стены одного провала в бездонную пустоту.

— Хочешь верить в Бога, — верь; не хочешь, — не верь. Бог тебя не спасёт. А ты мне поверь. Спасибо скажешь. И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка. Она, правда-то, может, обух для тебя.

Правда — погибель, ложь — спасенье; правда — зло, ложь — добро; правда — от дьявола, ложь — от Бога. Ложь стала правдою, правда — ложью.

Извне как будто ничего не разрушено; но внутри всё опрокинуто, перевернуто вверх дном, так что и разрушать нечего: увле-

каемое собственной тяжестью, всё само собою падает, рушится, возвращается к древнему хаосу, к небытию — «летит к чёрту на куличики». А таинственному старцу этого только и нужно, для этого он и пришёл, как будто «во имя Отца», а на самом деле «во имя своё».

«Мы солжем во имя Твоё, — говорит у Достоевского Великий Инквизитор своему Посетителю. — Нам дороги и слабые. Они порочны, и бунтовщики, но, под конец, они-то и станут послушными».

Это ведь и значит: «По-моему, ни одна блоха не плоха, все чёрненькие, все прыгают».

«Они будут дивиться на нас и считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу, которой они испугались, и над ними господствовать, — так ужасно им станет, под конец, быть свободными».

«Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы... Мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками»...

Один из «бывших людей» на дне поёт, приветствуя старца Луку, учителя лжи:

...Если к правде святой Мир дороги найти не сумеет, Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой.

А то, что говорит старцу другой, можно бы сказать и Великому Инквизитору:

«— Врёшь ты хорошо... сказки говоришь приятно!»

«— И все будут счастливы, — продолжает Великий Инквизитор, — все миллионы существ, кроме сотни тысяч, управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть...»

«— Ничего там не будет, ничего. Спокой — и больше ничего», — соглашается старец Лука с Великим Инквизитором.

«— ...Говорят и пророчествуют, что Ты придёшь и вновь победишь, придёшь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими; но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет Блудница, сидящая на Звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются



вновь малосильные, что разорвут порфиру её и обнажат её гадкое тело. Но я тогда встану и укажу Тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их, для счастья их, на себя, мы станем пред Тобой и скажем: Суди нас, если можешь и смеешь! Знай, что я не боюсь Тебя!»

«То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется».

«Мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна!»

С ним, то есть с «умным и страшным Духом Небытия».

Если бы кто-нибудь после этого монолога спросил Великого Инквизитора:

— Есть Бог?

Он молчал бы, «улыбаясь», а потом ответил бы, как старец Лука:

«Если веришь, — есть; если не веришь, — нет... А ты мне поверь. Спасибо скажешь!»

Но последней тайны своей Великий Инквизитор, так же как старец Лука, не открывает. Последняя тайна обоих в том, что они, подобно отцу своему, отцу лжи, который «человекоубийца был искони», хотят не спасти, а погубить мир. Оба они знают, что человек никогда ни для какого блаженства не откажется окончательно от свободы, никогда, ни для какой утешительной лжи не отвергнет истину окончательно, никогда, ни для каких золотых снов земли не забудет снов небесных окончательно. Оба они знают, что рано или поздно человек проснётся от сна, затоскует и в рабстве, проклянёт ложь и увидит за ложью бездонную пустоту, в которую влечёт его «отец лжи».

Тогда-то наступит та последняя скорбь, о которой сказано: «будет скорбь, какой не было от начала мира»; тогда люди «будут издыхать от страха», потому что страшнее всякого страха — небытие; будут «проклинать имя Бога живого и звать смерть, но смерть убежит от них». И захотят уничтожить себя, уничтожить мир, только бы не видеть этого грозящего ничтожества, этой бездонной пустоты небытия.

Великий Инквизитор и старец Лука — не реальные лица, а фантастические призраки. Но тот, для кого христианство реально, увидит и за этими призраками нечто реальное, как бы математически точную проекцию в неизмеримые дали будущего.

Во всемирной истории проходят иногда тени грядущих событий. В нереальном, но, может быть, только пока ещё нереальном,

не воплотившемся лице, которое сквозит за этими двумя призрачно-прозрачными масками — Великим Инквизитором и старцем Лукою, — прошла, кажется, одна из таких теней, никем не признанная, пророческая и как бы предостерегающая тень того, чего ещё нет, но что будет, если не лживо слово самой Истины:

«Я пришёл во имя Отца Моего, и вы Меня не принимаете, другой придёт во имя своё, его примите».

Эти вещие призраки — первые вехи пути, на который уже вступило так называемое «христианское» человечество, — пути, ведущего от религии истины к религии лжи, от Богочеловечества к Человекобожеству, от Христа к Антихристу.

### III

«Здесь всё слиняло — один голый человек остался», — определяет себе подобных босяк «На дне». Человечество, только человечество и есть босячество.

Чеховский интеллигент — тот же горьковский босяк, с которого уже «всё слиняло», кроме некоторых умственных и нравственных условностей, внешних покровов, ветхих рубищ, едва прикрывающих последнюю наготу, последний стыд человеческий; горьковский босяк — тот же чеховский интеллигент, обнажённый и от этих последних покровов, совсем «голый человек».

Мы видели общую исходную точку интеллигента и босяка — одну и ту же догматику позитивизма.

«Существуют законы и силы... Человеку некуда податься... Ничего неизвестно... Тьма!» — утверждает горьковский босяк. «Обратитесь к точным знаниям... доверьтесь очевидности... дважды два есть четыре», — говорит чеховский интеллигент.

— «Теперь перед смертью меня интересует одна только наука, — признаётся умирающий старый профессор в «Скучной истории». — Испуская последний вздох, я всё-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна... Но я не виноват, что верю так, а не иначе... Судьбы костного мозга интересуют меня больше, чем конечная цель мироздания».

На вопрос о конечной цели мироздания наука отвечает: не знаю. Профессор всю жизнь довольствовался этим ответом и,

ежели перед смертью почувствовал, что не может им довольствоваться, то сам не понимает, почему случилось так, никакого иного ответа не находит и не сомневается, что наука всё, а не часть всего, точно так же как познающий разум, источник науки, не всё, а только часть всего существа человеческого.

Догматический позитивизм приводит босяка к столь же догматическому материализму в нравственности: «Брюхо в человеке главное дело. А как брюхо спокойно, значит, и душа жива. Всякое деяние человеческое от брюха происходит». — «Волк прав». Эта единственная волчья правда босячества превратится у чеховской интеллигенции в материализм, реализм, дарвинизм или в какой-нибудь другой «изм», но, в сущности, это будет всё тот же босяцкий цинизм. Герой «Дуэли», зоолог фон Корен «хлопочет об улучшении человеческой природы» посредством естественного подбора и борьбы за существование, которые, будто бы, суть высшие законы не только животного, но и человеческого мира. «Есть сила, которая сильнее нас и нашей философии... Когда эта сила хочет уничтожить хилое, золотушное, развращённое племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия... Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы... уничтожить их». — «Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?» — «Несомненно». — «Но ведь сильные распяли Господа нашего Иисуса Христа!» Зоолог возражает на это довольно жалкими софизмами, стараясь доказать, что заповедь любви Христовой отнюдь не противоречит зоологическому закону борьбы, пожирания слабых сильными, так что можно подумать, будто бы Христос распят только для того, чтобы подтвердить единую спасающую истину дарвинизма. Такое «разумное христианство» не ветхое ли рубище, сквозь дыры которого зияет бесстыдная нагота человеческого, только человеческого разума, а за нею ещё более бесстыдная, голая, босяцкая «волчья» правда?

«Мертвичина ты, стерва тухлая!» — отвечает у Горького босяк христианину. «Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний, это, конечно, учение Христа, — рассуждает чеховский интеллигент. — Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию и таким об-

разом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле... Поэтому никогда не ставьте вопроса на так называемую христианскую почву».

Как относился сам Чехов к религии вообще, и к христианству, в частности?

По произведениям его можно только догадываться, хотя с очень большой вероятностью, что, подобно своему герою, Чехов видел в христианстве «одно из гуманитарных знаний», принимал в нём человеческую нравственность, а всё остальное отвергал, как суеверие; но и в этом очищенном виде христианство представлялось ему столь сомнительным, что он сам, подобно зоологу фон-Корену, предпочитал «никогда» не ставить вопроса на так называемую «христианскую почву». Как бы то ни было, тот факт, что христианство в произведениях Чехова почти умолчено, уже сам по себе значителен.

Мне пришлось бы ограничиться сказанным, если бы судьба не дала мне в руки двух документов чрезвычайной ценности для истории внутренних религиозных переживаний Чехова, которые он всегда скрывал ревниво и тщательно. Это два неизданных частных письма его к С. П. Дягилеву, редактору «Мира Искусства», чьей любезности я обязан разрешением привести здесь выдержки из этих писем<sup>8</sup>. В одном из них, от 12 июля 1903 года, то есть за год до смерти, Чехов пишет:

«Я давно растерял мою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».

Во втором, от 30 декабря 1902 года — по поводу современного религиозного движения в России, идущего от Вл. Соловьёва и Достоевского, движения, которое выразилось отчасти, хотя далеко неполно, в Религиозно-философских собраниях и в журнале «Новый путь»:

«Вы пишете, что мы говорили о серьёзном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и, главным образом, от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит всё дальше, что бы там не говорили, и какие бы философско-религиозные общества не собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете — само по себе, а вся современная культура — сама по себе, и ставить вторую

в причинную зависимость от первой никак нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, ещё десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далёком будущем человечество познало истину настоящего Бога; т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, — есть пережиток, уже почти конец того, что отжило, или отживает».

Ввиду важности обоих писем, привожу их здесь целиком:

30 декабря 1902

Многоуважаемый Сергей Павлович!

«Мир Искусства» со статьёй о «Чайке» я получил, статью прочёл — большое Вам спасибо. Когда я кончил эту статью, то мне опять захотелось написать пьесу, что, вероятно, я и сделаю после января.

Вы пишете, что мы говорили о серьёзном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и, главным образом, от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от неё всё дальше и дальше, что бы там ни говорили, и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете — само по себе, а вся современная культура — сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, ещё десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далёком будущем человечество познало истину настоящего бога — т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, — есть пережиток, уже почти конец того, что отжило, или отживает. Впрочем, история длинная, всего не напишешь в письме.

Когда увидите г. Философова, то, пожалуйста, передайте ему мою глубокую благодарность. Поздравляю Вас с новым годом, желаю всего хорошего.

Преданный А. Чехов

12 июля 1903

Многоуважаемый Сергей Павлович, я немного запаздываю ответом на Ваше письмо, так как получил его не в Наро-Фоминском, а в Ялте, куда приехал на этих днях и где пробуду, вероятно, до осени. Я долго думал, прочитав Ваше письмо, и как ни заманчиво Ваше предложение или приглашение, всё же я должен в конце концов ответить Вам не так, как хотелось бы и мне и Вам.

Быть редактором «Мира Искусства» я не могу, так как жить в Петербурге мне нельзя, а журнал не переедет для меня в Москву, редактировать же по почте и по телеграфу невозможно и иметь во мне только номинального редактора для журнала нет никакого расчёта. Это во-первых. Во-вторых, как картину пишет только один художник и речь говорит только один оратор, так и журнал редактируется только одним человеком. Конечно, я не критик, и, пожалуй, критический отдел редактировал бы неважно, но, с другой стороны, как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определённо, верует учительски, в то время, как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Д. С. и ценю его, и как человека, и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы, если и повезём, то в разные стороны. Как бы ни было — ошибочно моё отношение к делу, или нет, я всегда думал, и теперь так уверен, что редактор должен быть один, только один, и что «Мир Искусства», в частности, должны редактировать только Вы один. Таково моё мнение, и мне кажется, что я не изменю его.

Не сердитесь на меня, дорогой Сергей Павлович; мне кажется, что Вы, если бы проредактировали журнал ещё лет пять, то согласились бы со мной. В журнале, как в картине, или поэме, должно быть одно лицо и должна чувствоваться одна воля. Это и было до сих пор в «Мире Искусства», и это было хорошо. И надо бы держаться этого.

Желаю Вам всего хорошего, крепко жму руку. В Ялте прохладно, или, по крайней мере, не жарко, я торжествую.

Низко Вам кланяюсь.

Ваш А. Чехов.

Достоевский верил в истину учения Христова; эта истина была для него, конечно, совсем иного порядка, но не меньшей, а большей достоверности, чем «дважды два есть четыре». Вера

Достоевского кажется Чехову смутным «угадыванием», не потому ли, что мир внутреннего мистического опыта, который Достоевскому так близок, почти незнаком Чехову? Этот внутренний религиозный опыт, может быть, объективно ложен, но отнюдь не менее точен и ясен, чем самые точные и ясные математические истины. Разумеется, для тех, кто незнаком с интегральным и дифференциальным исчислением, формулы высшей математики кажутся менее ясными, чем дважды два четыре; но из этого не следует, что они менее точны и достоверны. Во всяком случае, возвращаться от высшей математики к таблице умножения в поисках за общедоступной ясностью — значит, идти не вперёд, а назад, не к великому будущему, а к малому прошлому. Противопоставляя недостаточно, будто бы, ясной религиозной истине, в которую верил Достоевский, но которая была открыта людям не Достоевским, а Христом, другую, ещё неизвестную истину «настоящего Бога», которая будет открыта, может быть, через десятки тысяч лет и которая сведёт все тайны Божьи, донныне казавшиеся людям страшными и неисповедимыми, к общедоступной ясности таблицы умножения, — Чехов тем самым подписывает смертный приговор не только современному религиозному движению в России, но и всему христианству, всей религиозной жизни человечества, как вымирающему «пережитку», обломку старых, никому не нужных суеверий; порывает всякую живую связь между прошлым и будущим всемирной культуры. Ежели так, то не только современное религиозное движение в России, но и всё христианство «само по себе», а «современная культура сама по себе». Они враги на жизнь и смерть. Пусть Чехов и не сделает этого вывода; всё же ясно, что он не мог его избежать.

В рассказе «Студент», в глухой деревне у пылающего костра, в ночь на Страстную Пятницу простые люди тронуты до слёз рассказом студента о том, что происходило девятнадцать веков назад, в точно такую же ночь, у такого же костра, во дворе первосвященника Кайафы. «То, о чём он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, — думает студент, — имеет отношение к настоящему, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Прошлое связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой... Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, во дворе пер-

восвященника, продолжались непрерывно до сего дня, и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...»

С одной стороны, христианство — только «пережиток того, что отживает и уже почти отжило», обломок старины, не имеющий никакого отношения к будущему; с другой — христианство есть вечная цепь, соединяющая прошлое с будущим, в христианстве — «вечная правда и красота, составляющие главное в человеческой жизни и вообще на земле». Как выйти из этого противоречия? Чехов не только не вышел из него, но и не вошёл в него, как следует, по крайней мере, своим сознанием не вошёл, а прошёл мимо, не задумываясь. Он говорил христианству то окончательное да, то окончательное нет, с одинаковою опрометчивою лёгкостью. И русская интеллигенция тоже не задумалась.

Кажется, в жизни Чехова, так же, впрочем, как в жизни каждого человека, было мгновение, когда он встретился лицом к лицу со Христом и мог бы подойти к Нему; но что-то испугало, оттолкнуло Чехова — не вечное ли смешение религии с реакцией, подозрение, что в христианстве заключено отрицание человеческой свободы и человеческого разума даже до таблицы умножения? И Чехов прошёл мимо Христа, не оглядываясь и даже потом нарочно стараясь не смотреть в ту сторону, где Христос. А если бы посмотрел, то увидел бы, что и «десятитысячелетиям» не так-то легко будет отделаться от «пережитков» того, что произошло во дворе первосвященника или в саду Гефсиманском, где Сильнейший из людей скорбел до кровавого пота, молясь: Да идёт чаша сия мимо Меня, впрочем не Моя, но Твоя да будет воля, — и этою молитвою разрешал самую страшную мировую антиномию божественной необходимости, по которой смерть есть смерть, как «дважды два есть четыре», и божественною свободою, которая требует, чтобы смерть была не смертью, а воскресением, несмотря на то, что дважды два есть четыре.

«Ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, а начало смерти», — устами Подпольного человека возражает Достоевский Чехову. «По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Я согласен, что дважды два превосходная вещь; но если уж всё хвалить, то и дважды два пять премилая иногда вещица».

Это, конечно, — безумие, то самое безумие, за которое Чехов невзлюбил Достоевского. Но неужели и сам Чехов, хоть из-



редка, например, в ту минуту? когда, умирая в пустоте безверия, готов был, кажется, воскликнуть с одним из своих героев: «Хоть бы удариться в мистицизм, хоть бы кусочек какой-нибудь веры!» — не чувствовал соблазна этого безумия? Неужели никогда не видел он, что дважды два четыре, возведённое на степень религии — вовсе не путь, а стена, о которую человечество бьётся головой и будет биться, пока не разобьёт или эту стену, или собственную голову — и хорошо делает, потому что человечество только до тех пор и достойно этого имени, пока свобода для него дороже головы? И неужели, наконец, Чехов не понял бы, при всём своём благоразумии, безумия тех, кто, после десяти тысячелетий культурной работы, отыскав «настоящего Бога», в котором не оказалось бы ничего больше, чем дважды два четыре, возмутились бы и пожелали отправить такого Бога к чёрту?

Чехова разрывали на части всевозможные политические и литературные лагеря: делали его позитивистом, социалистом, марксистом, народником, декадентом и даже мистиком; последняя попытка неудачнее всех остальных. Ежели у Чехова и была жажда религии, то жажда эта осталась навсегда неутолённой; а что касается до подлинных религиозных переживаний его, то можно сказать о нём то же, что он говорит об одном из своих героев:

«Небольшой кусочек религиозного чувства теплился в груди его наравне с другими нянюшкиными сказками».

Или то, что он сам о себе говорит:

«Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».

И в этом, впрочем, как во всём остальном, Чехов истинный представитель религиозного сознания русской интеллигенции.

Решив, что «небо пусто», а «с земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь», чеховский интеллигент, так же как горьковский босьяк, противопоставляет христианству, которое кажется ему религией «пустого неба», религию полной, исполненной земли, религию прогресса — земного рая, земного неба.

«Пройдёт ещё немного времени, каких-нибудь двести, триста лет, и какая будет жизнь, какая жизнь!»

Вместе с пронзительно Унылою свирелью Луки Бедного, Антона Бедного — песнью о кончине мира, о всеобщей гибели — эта песнь о бесконечности мира, о всеобщем спасении, песнь грядущего рая земного, грустно весёлая, как призывной

крик журавлей, — второй, всегда сопутствующий первому и ему противоречащий, Leitmotiv чеховской музыки. «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если её нет пока, то он должен предчувствовать её, ждать, мечтать, готовиться к ней». Это однообразное, похожее не то на молитву, не то на заклятье: «через двести, триста лет» повторяется упорно и уныло, почти так же уныло, как две-три ноты плачущей свирели. «Через двести, триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь»... Это священное исповедание, этот новый «ислам» твердят почти все герои Чехова, которых он любит, твердит он сам: «Как часто, — вспоминает один из приятелей Чехова, — говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: «Знаете ли, через триста, четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна... Как хороша будет жизнь через триста лет!»

Казалось бы, на этом и успокоиться. Всё ясно, всё просто; никаких сомнений, никаких тайн. «Через двести, триста лет» наступит золотой век на земле, а пока надо ждать и надеяться, да идти навстречу этому восходящему солнцу прогресса.

Казалось бы так. А между тем Чехов не только на этом не успокаивается, но с этого-то и начинается вся его трагедия; туг-то и возникают для него самые неразрешимые сомнения, самые неразгаданные загадки. Тут кончается внешний, мнимый, всё понимающий, всем понятный — и выступает подлинный, «подпольный», ничего не понимающий и никому непонятный Чехов.

«— Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни... Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что её жизнь полна сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.

— Что ж, собственно, вам страшно?

— Мне всё страшно... Мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому всё это нужно... Никого и ничего я не понимаю... Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю вас. У меня темно в глазах».

Не тот же ли это самый страх у чеховского интеллигента, как у горьковского босняка, который признаётся тотчас после торжественного гимна человечеству:

«— Я, брат, боюсь иногда... Понимаешь? Трушу... Потому, что же дальше?.. Все как во сне... Зачем я родился?»

На вопрос обоих — один научно-позитивный ответ: «Ничего неизвестно. Тьма!» Ответ, равняющий жизнь человека и всего человечества с жизнью козявки, «полною сплошного ужаса». Жизнь кажется ловушкой, из которой нет выхода; природа — «тёмною, безгранично глубокою и холодною ямою, из которой не выбраться».

«Небо пусто», но нельзя человеку не видеть над собою этого пустого неба и нельзя не чувствовать своего бесконечного одиночества в этой бесконечной пустоте. Бывшая некогда в религии, сила притяжения «к мирам иным», сила мистической радости не исчезает с исчезновением религии, а превращается в равную и противоположную силу отталкивания, силу мистического ужаса.

«Когда долго, не открывая глаз, смотришь на глубокое небо, — говорит Чехов, — то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далёким и не имеющим цены... Приходит на мысль то одиночество, которое ждёт каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной».

Ужасна, потому что непонятна, жизнь; ещё ужаснее, потому что ещё непонятнее, смерть.

Вопрос о бессмертии, так же, как вопрос о Боге — одна из главных тем русской литературы от Лермонтова до Л. Толстого и Достоевского. Но как бы ни углублялся этот вопрос, как бы не колебалось его решение между да и нет, — всё же вопрос остаётся вопросом. Чехов первый на него ответил окончательным и бесповоротным нет, поставив средоточием душевной трагедии всех своих героев мысль о смерти, как об уничтожении.

«— А вы не верите в бессмертие души? — спрашивает уездного доктора уездный почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь».

Как просто! Но под этой простотой весь ужас, на какой способна душа человеческая.

«О, зачем человек не бессмертен? — думает тот же доктор, оставшись ночью один. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корою,

а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землёй вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, со всем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину».

И доктор сходит с ума от этих простых мыслей!

«Скоро меня возьмёт смерть», — думает старый профессор, знаменитый учёный, герой «Скучной истории». И все великие научные истины кажутся ему ничтожными перед этой простой истиной: «скоро меня возьмёт смерть».

Он продолжает верить, что «наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, и что только ею одною человек победит природу и себя»!, но вера эта не спасает его от страха смерти. Вера в науку сама по себе, а мысль о смерти сама по себе. «Если кто философствует, это значит, что он не понимает». «Никакая философия не может примирить меня со смертью, и я смотрю на неё, просто как на погибель». Среди лекции, в то самое время, когда он проповедует бессмертное величие и торжество науки, — «к горлу вдруг подступают слёзы», и он чувствует «страстное, истерическое желание протянуть вперёд руки... и прокричать громким голосом», что его, «знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни». «— И в это время моё положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком, бросились к выходу». — «Ужас у меня безотчётный, животный... такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное злое зарево».

Он смутно сознаёт: «Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам... Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Или раньше я был слеп?» Кажется, ещё шаг сознания — и он поймёт все, поймёт, что действительно был слеп, и слепа была его вера в науку. Какая же это вера, с которой можно жить, но нельзя умереть, которая исчезает от мысли о смерти, как лёд от огня? Но поздно. Сознание его так и не сделает этого шага. Прежде не видел он истины, потому что был слеп, а теперь слеп, потому что увидел истину, и слишком внезапный свет её ослепил его. И он уже, видя, не видит и ничего не может сознать, а может только дрожать, как затравленный зверь, и кричать последним отчаянным криком: «Я утопаю... бегу... прошу

помощи!» Но никто и ничто ему не поможет — меньше всего религия науки, человеческого, только человеческого разума, религия прогресса — здешней вечности, смертного бессмертия.

Теперь понятно, для чего нужна эта религия: она служит чем-то вроде ширмы от страшного света истины, «белого света смерти». Но старинные ширмы из пёстрой тафтицы с весёленьким узором во вкусе XVIII века, изображающим пастораль золотого века, эти вольтеровские ширмы, за которыми так мирно почивали наши дедушки и бабушки, — давно износились, продырявились, и сквозь все дыры светит свет белого дня; спящие просыпаются и уже не могут заснуть и снова увидеть золотой сон прогресса.

«— Воссияет заря новой жизни, восторжествует правда! — бредят спящие.

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — отвечают проснувшиеся. — Правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать, так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, всё же, в конце концов, вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю... Если нет бессмертия, то его, рано или поздно, изобретёт великий человеческий ум».

На это изобретённое бессмертие проснувшийся не отвечает даже: «Э, полноте», — а только снисходительно улыбается и спрашивает: «Вы изволили где-нибудь получить образование?»

«Прогресс — алхимия», — как-то неосторожно признаётся один из чеховских героев, и, кажется, это — искреннейшее признание самого Чехова. Во всяком случае, вера в научное бессмертие ничем не отличается от веры в жизненный эликсир или философский камень средневековых алхимиков. Это — ситцевая заплатка XX века на шёлковых ширмах XVIII. Но ситец дерёт шёлк, и дыра ещё больше. Впрочем, как ни чини эти ширмы, а рано или поздно, придётся их сдать в лавку старьёвщика, вместе с другим дедушкиным хламом. Да и рассвело уже так, что ни за какими ширмами, ни старыми, ни новыми, от света не спрячешься — просыпаться пора.

«Я хотел бы проснуться через сто лет, — мечтает умирающий профессор в «Скучной истории», — и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой... Дальше что? — А дальше ничего».

— «Я, брат, иногда боюсь... Понимаешь? Трушу... Потому, что же дальше?»

И чеховский интеллигент, знаменитый учёный, на высоте всех своих знаний, оказывается перед лицом смерти таким же «голым человеком», как босяк «на дне».

«Если вообразить, — думает сходящий с ума доктор «Палаты № 6», — если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утёсы. Всё — и культура и нравственный закон — пропадёт и даже лопухом не порастёт».

И с умным доктором, и с великим учёным согласен пастух Лука Бедный, который поёт на своей унылой свирели о конце мира, о всеобщей гибели. Он тоже не сомневается в прогрессе, в движении куда-то вперёд, но сомневается, что впереди — спасение, а не гибель.

«— Умней-то, умней народ стал, это верно, да что с того толку? На кой прах людям ум перед гибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно...»

И без всякого прогресса.

Спрашивается: есть ли у чеховских героев, есть ли у самого Чехова что-нибудь, чем бы они могли защититься от этой простой с ума сводящей истины: «Всё пропадёт и даже лопухом не порастёт». И если нет ничего, то как же не видят они, как же сам Чехов не видит, что достаточно одного прикосновения этой истины о смерти, как уничтожении, чтобы уничтожить дотла его последнюю и единственную святыню?

Возможен один лишь осмысленный вывод из этого бессмысленного ужаса:

«— Мне кажется, — говорит Маша, одна из «Трёх сестёр», — человек должен быть верующим, или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети рождаются, для чего звёзды на небе... Или знать, для чего живёшь, или же всё пустяки, трын-трава».

Но «никому ничего неизвестно», и значит, действительно, «всё пустяки, трын-трава». Жизнь каждого человека кончается смертью, уничтожением, то есть нулём; и жизнь всего чело-

вечества, сумма отдельных человеческих жизней только сумма нулей, — тот же нуль. *Ex nihilo nihil*. Из ничего ничего. Значит, и религия прогресса — та же «религия лжи», которую проповедует Лука, «старец лукавый». И ежели «через десять тысячелетий культурной работы люди, наконец, познают истину настоящего Бога так же ясно, как дважды два четыре», то уже и сейчас имя этого Бога познано, хотя и не названо: имя Его — «Отец лжи» и «Человекоубийца». Знает ли его Чехов? Сделал ли он этот вывод, единственно разумный, но, может быть, более страшный, чем само безумие? Во всяком случае, нет никакого основания думать, что бы он этого не знал и не сделал.

«— Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?» — молит ученица учителя, умирающего профессора в «Скучной истории».

«— Что же я могу сказать? — недоумевает он. — Ничего я не могу.

— Помогите! — рыдает она. — Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?» Он молчит, потом отвечает:

— По совести не знаю».

А ведь кажется, должен бы знать: ведь он всё ещё верит в науку. Так почему же не ответил: «Верьте в науку верьте в прогресс?» Что же мешает ему ответить так, «по совести»? Или он уже сам не верит, и то, что всю жизнь казалось ему истиной, теперь, перед смертью, кажется ложью? И стыдно лгать пред лицом смерти, пред лицом истины?

«Для меня ясно, — признаётся он, — что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, которые я составляю обо всём, нет чего-то общего, что связало бы всё это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях даже самый искусный аналитик не найдёт того, что называется общей идеей, или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего. Я побеждён».

Но ведь это приговор не только ему, но и всему, во что он верил и других учил верит. «Страшно впасть в руки Бога живого». Он впал в руки Бога и всё-таки не видит лица Божьего, стыдится

имени Божьего, пишет «бог» с маленькой буквы, чтоб его не заподозрили в измене науке.

Но эта «общая идея», это соединение, «связь всего в одно целое», которых ему недостаёт и от недостатка которых он погибает, — ведь это и есть Бог, не отвлечённый, мёртвый, маленький «бог», а настоящий, великий, живой, о котором и сказано: «страшно впасть в руки Бога живого».

Таково признание чеховского героя, кажется, очень близкого самому Чехову. А вот признание одного из героев Горького, кажется, тоже близкого самому Горькому:

«Кто есть мой Бог? Если б я знал это!... Я открыл в себе немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим; но чувства объединяющего всё это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашёл в себе... Я существую внутренне опустошённый... Я уже труп».

Не кажется ли, что оба признания — из одной души?

Далее — последний отчаянный крик: «Хоть бы удариться в мистицизм! Хоть бы кусочек какой-нибудь веры!» — и чеховский интеллигент проваливается в ту же бездонную пустоту, как горьковский босяк. «Всё гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропавшими», — решает перед смертью старый профессор в «Скучной истории».

«— Жизнь скучна, грязна, глупа... Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю», — решает Иванов перед самоубийством.

«— Нас нет, ничего нет на свете, мы не существуем, а только кажется, что существуем. И не всё ли равно?» — говорит в «Трёх сёстрах» страшный Чебутыкин, живой мертвец. Это тот же самый ужас небытия, который испытывает и горьковский босяк: «Вдруг всё исчезнет из тебя, точно провалится насквозь, куда-то... Совсем ничего нет! Даже страшно... Как будто ты не человек, а овраг бездонный... Ничего во мне нет...»

Бездна не только отталкивает, но и притягивает.

«— Братцы, мы все лопнем, ей-Богу! А отчего лопнем? Оттого, что лишнее всё в нас и вся жизнь наша лишняя!.. На что меня нужно? Не нужно меня! Убейте меня, чтоб я умер!.. Хочу, чтоб я умер!» Последнее самоутверждение приводит к последнему самоотрицанию. «Я теперь довёл себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. Ничего мне не надо, ничего не хочу!» — говорит уже не горьковский, а чеховский босяк,



ссылный Семён Толковый. До этой же самой «точки» доводят себя и чеховские интеллигенты: и они могут, в смысле религиозном, умственном и нравственном, «голые на земле спать и траву жрать»; и у них нет ничего и ничего им не надо. Тут чеховский интеллигент сливается с горьковским босяком уже окончательно. У обоих спокойное, научно-позитивное: ничего не знаем — превращается в яростное, мистическое: ничего не хотим, хотим ничего; ужас небытия — в жажду небытия, в жажду всемирного разрушения и хаоса.

«Ничего не нужно. Пусть земля провалится в тартарары!» — это последнее желание чеховского интеллигента совпадает с последним желанием горьковского босяка: «Пусть всё скачет к чёрту на куличики! Мне было бы приятно, если бы земля вдруг вспыхнула и сгорела, или разорвалась бы вдребезги!»

Разрушение для разрушения, хаос для хаоса — конец мира, который идёт не извне, а изнутри, из души человеческой, из проснувшегося в ней, зашевелившегося хаоса, — тот конец мира, та всеобщая погибель, о которых поёт свирель Луки Бедного: «весь мир идёт прахом... А коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего канителить и людей попусту мучить»...

Когда доктор «Палаты № 6» умирает в сумасшедшем доме от апоплексического удара, то в последнюю минуту перед потерей сознания, думает о бессмертии: «А вдруг оно есть? — Но бессмертия ему не хотелось», — утверждает Чехов. — «Потом всё исчезло. Он забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню», или — «бросили в яму», как он предчувствовал ещё при жизни, или «в вагон для перевозки свежих устриц»<sup>9</sup>, как, может быть, предчувствовал о себе Чехов, который согласен, по крайней мере, не считает нужным заявить несогласия со своим героем, что бессмертия нет, да и «не хочется бессмертья». Всё гадко, всё просто, всё бессмысленно. Ни надежды, ни страха, ни возмущения, ни даже муки. Одно беспредельное, тупое, простое, тихое, животное, скотское отчаяние — бездонная пустота.

«Я умираю. Ich sterbe» — эти два слова, говорят, Чехов произнёс перед смертью, и больше ничего не прибавил, да ему и нечего было прибавить: смерть есть смерть, как «дважды два есть четыре»; смерть — ничто, и жизнь — смерть, всё — смерть, всё — ничто. И мёртвое тело Чехова положат в «вагон для перевозки свежих устриц», и над гробом покойного учителя живые

учителя будут говорить речи о прогрессе, о здешней вечной жизни, о будущем рае земном, о великом человеческом разуме, который «изобретёт когда-нибудь бессмертие». И пусть говорят! Пусть даже Чебутыкин, живой мертвец, напевает свою весёленькую тарарабумбию. Не всё ли равно? «Смерть слова не боится», — как утверждает один из босяков «На дне». — «Мертвецы не воскреснут, мертвецы не слышат... Кричи, реви... мертвецы не слышат».

Не потому смерть есть смерть, что нет бессмертия, а потому, что «и не хочется бессмертия», не нужно его, ничего не нужно, или, вернее, нужно ничего. И не потому не верующий в бессмертие не верит, что бессмертия нет; а потому и нет для него бессмертия, что он в него не верит, не хочет его, и если бы знал, что оно есть, то всё-таки не захотел бы, — как Иван Карамазов, «возвратил бы почтительнейше билет свой Богу».

Это-то и есть истинная смерть, не только телесная, но и духовная, вечная смерть, предсказанная в Апокалипсисе, вторая смерть, от которой нет воскресения.

Религия прогресса, здешней вечной жизни становится религией нездешней вечной смерти, религией небытия — тою самою, которую проповедует «бывшим людям», мёртвым и «голым» людям Лука, старец лукавый, служитель самого Отца лжи, «умного и страшного Духа небытия».

У Достоевского есть ужасный рассказ «Бобок». Кто-то, зайдя случайно на петербургское кладбище, подслушивает разговор покойников. Оказывается, что перед тем, чтобы умереть окончательно, они просыпаются ненадолго. «Остаток жизни сосредоточивается в сознании. Это продолжается жизнь как бы по инерции... месяца два, или три... иногда даже полгода»... Потом они опять засыпают, уже навеки. «Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё ещё вдруг пробормочет одно слово, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нём, значит, жизнь всё ещё теплится незаметною искрой»... Этот краткий промежуток между двумя смертями, первой и второю, даётся будто бы людям для того, чтобы они «успели спохватиться»; это — «последнее милосердие». Главный ужас в том, что после смерти ничего не изменилось, всё осталось по-прежнему; ««всё, что у вас, есть и у нас»; только переменялась точка зрения — и всё, оставаясь по-прежнему, вместе с тем опрокинулось, перевернулось, откры-

лось с другой стороны. Они знают, что умерли, но не могут или не хотят этого узнать до конца, постоянно забывают, смешивают, путают, не могут привыкнуть к новой точке зрения. Всё, как было — ничего страшного; но страшнее всего, что можно себе представить, это продолжающаяся агония, эти судороги сознания между двумя метафизическими порядками. Они разговаривают, как будто ничего не случилось, болтают о пустяках, играют в преферанс «на память», шутят, смеются, бранятся, сплетничают, говорят непристойности. Но пошлость жизни принимает исполинские размеры *sub specie aeterni*, «под знаком вечности», выступает с ослепительной чёткостью, как тёмные очертания предметов на белом свете. Один молодой покойник из высшего общества предлагает «провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях: Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!.. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться... Всё это там, вверху, было связано гнилыми верёвками. Долой верёвки, и проживём эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Два последние и, может быть, величайшие произведения Чехова «Три сестры» и «Вишнёвый сад» — напоминают «Бобок». Кажется, что все действующие лица давно умерли, и то состояние, в котором они находятся, есть «жизнь, продолжающаяся только по инерции», промежуток между двумя смертями — «последнее милосердие». Они, впрочем, и сами подозревают, что их уже нет, что они умерли: «Нас нет... мы не существуем, и только кажется, что мы существуем». Они что-то говорят, что-то делают, но сами не знают что. Бредят, как полусонные, полумёртвые. Когда Чебутыкин напевает свою «тарарабумбию», то кажется, что это «мертвец, уже почти совсем разложившийся» лепечет: «Бобок, бобок!» Они и все не живут, а разлагаются, тлеют и смердят друг другу, и задыхаются от взаимного смрада. Но уже ничего не стыдятся — «заголились и обнажились» в последнем цинизме пошлости, в последней наготе и пустоте душевной. О них можно сказать то, что у Достоевского говорит слушатель «Бобка»: «Нет, этого я не могу допустить... разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов — и даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... Нет, этого я не могу допустить».

Иногда они как будто хотят «спохватиться», опомниться — шепчут с тоскою: «Если бы знать, если бы знать!» — но тотчас опять засыпают и бредят сквозь сон, сквозь смерть о жизни, о счастье, о молодости, о журавлях, летящих в небе, неизвестно куда и зачем, о цветущем вишнёвом саде, о будущем рае земном: «Через двести, триста лет, какая будет жизнь, какая жизнь!» Но между двумя гимнами жизни раздаётся весёленькая «тара-рабумбия», как тихий «бобок, бобок», или тихий смех дьявола, «умного и страшного духа небытия». Дьявол может смеяться. «Мертвецы не воскреснут, мертвецы не слышат... Кричи, реви... Мертвецы не слышат». И этим смехом кончается всё.

А когда всё кончено, когда все уже умерли второю смертью, тогда выступает бессмертный Ермолай Лопухин, совершитель прогресса, владелец вишнёвого сада, владелец грядущего рая земного, «гордый, голый человек», торжествующий босяк, торжествующий хам.

«— Приходите все смотреть, как Ермолай Лопухин хватит топором по вишнёвому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и ваши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь...»

Так вот она, эта новая жизнь, этот новый рай земной — рай лопухинских дач!

«— Музыка, играй!.. пускай всё как я желаю! Идёт новый помещик, владелец вишнёвого сада! За всё могу заплатить!»

Ермолай Лопухин, проповедник вечной жизни, — первый маленький хам; за ним идёт второй хам, побольше — старец Лука, проповедник вечной смерти, с ласковым шёпотом: «Я и жуликов уважаю... я и трупики уважаю, — по-моему, ни одна блоха не плоха, все чёрненькие, все прыгают» — и, спрыгнув, летят в пустоту. За старцем Лукою придут хамы ещё побольше и, наконец, последний, самый великий Грядущий Хам.

И вся русская интеллигенция рукоплескала этому торжеству новой жизни. И никто не почувствовал трупного запаха, никто не понял, что это не новая жизнь, а «бобок». Может быть, впрочем, и понимать было некому, потому что не только на сцене, но и в зрительном зале был тот же «бобок»?

Понимал ли сам Чехов? Если и понимал, то никому не говорил, молчал — не от страха ли молчал, не от страха ли умер?

Когда уходит Ермолай Лопухин, — старый дом заколачивают и в нём воцаряется «мерзость запустения». Остаётся один

старый слуга Фирс, домовый старого дома и вишнёвого сада, последний поэт и художник старого быта. Но умирает и он.

«— Жизнь-то прошла, словно и не жил. Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотёпа!»

«Я умираю. Ich sterbe». Это последние слова, произнесённые Чеховым.

«Наступает тишина, и только слышится, как далеко в вишнёвом саду топором стучат по дереву». Это последние слова, написанные Чеховым.

Они оказались пророчеством. Только что он умер — заступал топор. Уже секира при корнях. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Только что смолк последний звук свирели, певшей о конце, — начался конец.

Чехов молчал, но чего ему стоило это молчание, показывают некоторые неосторожные признания чеховских героев.

«Если я писатель, — говорит писатель Тригорин, — то я обязан говорить о народе, об его страданиях, о его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее, и прочее... И я говорю обо всём, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами... Мне кажется, что меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом».

«Трудно сознаться в своём банкротстве, — говорит неизвестный человек в рассказе того же названия, — тяжело быть искренним, и я молчал. Не дай Бог никому пережить то, что я пережил».

А когда русская интеллигенция приступала к Чехову с такою же отчаянною мольбою, как «бедняжка» ученица старого профессора в «Скучной истории» к своему учителю: «Что мне делать?» — то Чехову хотелось ответить ей так же, как старый профессор ответил «бедняжке»: — «По совести, не знаю...».

Но Чехов был слишком «осторожен», чтобы ответить так. Он мог бы сказать о себе то, что говорит старому профессору приятель, который уже не верит в науку.

«— Я осторожнее, чем вы думаете и не стану говорить это публично, спаси Бог!»

И Чехов отвечает «бедняжке»:

«— Через двести, триста лет будет рай земной...»

«Рай лопахинских дач» — мог бы он прибавить, но не прибавлял, а только усмехался и, как Чебутыкин, тихонько про себя напевал: «Тарарабумбия».

Может быть, это и была одна из тех минут, когда он чувствовал себя, как писатель Тригорин, «лисицей, затравленной псами» и «боялся, что к нему подкрадутся, схватят его и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом».

Но Чехов боялся напрасно: «бедняжка» поверила и поклонилась ему, как пророку.

Осторожен и Горький — может быть, ещё осторожнее Чехова. Но иногда и у Горького вырываются неосторожные признания:

«— Кто есть твой Бог? — спрашивает читатель писателя в рассказе, похожем на исповедь. — Покажи мне в душе твоей хоть что-нибудь, что помогло бы мне признать в тебе учителя!»

«Он представлял себя выше жизни, — говорит Горький о босяке торжествующем. — Он видел себя твёрдо стоящим на ногах и немым. Он мог бы крикнуть людям: «Как живёте? Не стыдно ли?» И мог бы обругать их. Но если они, услышав его голос, спросят: «А как надо жить?» — он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги людям... И смехом проводили бы его гибель».

«Если меня когда-нибудь будут бить, то меня не изувечат, а убьют», — признаётся другой босяк, который открыл, что «истинный Шекинах есть человек» — человек есть Бог.

Но и Горький напрасно боялся. «Бедняжка» и ему поверила, и ему поклонилась, как пророку.

И не совсем ошиблась. Чехов и Горький действительно «пророки», хотя не в том смысле, как о них думают, как, может быть, они сами о себе думают. Они «пророки» потому, что благословляют то, что хотели проклясть, и проклинают то, что хотели благословить. Они хотели показать, что человек без Бога есть Бог; а показали, что он — зверь, хуже зверя — скот, хуже скота — труп, хуже трупа — ничто.

Но если они не научили нас тому, чему хотели научить, зато научили тому, чему не хотели — и это к лучшему. Любовь, которою мы их любим, истинная любовь; венец, которым мы их венчаем, истинный венец. Мы любим их за то, что они страдают за нас. Но мы должны помнить, что это венец не

торжествующих героев, а искупляющих жертв, и что если опустится нож, занесённый над этими жертвами, то он поразит не только их, но и нас всех.

Подумаем же о том, как бы остановить этот нож.

1906

